

**Подлинный классицизм
БАЛЛАДЫ-ПОСЛАНИЯ ОВИДИЯ, ПЕР^{<ЕВОД>} Ф. ЗЕЛИНСКОГО. Изд. М.
В. САБАШНИКОВА, МОСКВА. 1913.**

Издание поэтических произведений Овидия в русском переводе Ф. Зелинского, с его вступительными статьями и примечаниями есть явление далеко не случайное и безразличное – не потому только, что это новая работа нашего вдумчивого знатока античности.

Античность не была до сих пор органической частью русской культуры. В эпоху доморощенных и наивных заимствований классицизма из французских и немецких рук наши старинные писатели, сообразно духу времени, не столько заботились о присвоении русской культуре античной стихии, сколько о выращивании на русской почве «российских пиндаров и расинов; потом после эпохи борьбы с «ложным классицизмом» и наступившей вслед затем эпохи позитивного натурализма настало длительное насаждение казенного классицизма в школе, которое среди многих других вредных влияний имело и то пагубное следствие, что отбивало вкус к подлинному классицизму. Оживление античной традиции, в ее жизненных началах, способствовал пришедший в 90-х годах на смену натурализму символизм, с первых же своих шагов проявивший заботу об античности. На истинно-поэтических переводах первого русского символиста Мережковского из греческих трагиков (Эсхил, Софокл, Еврипид) воспитываются уже давно наши дети, к этим переводам присоединилась очень скоро более холодная и сухая, но все же с успехом переведенная Минским Илиада: вслед за ними мы еще не забыли впечатления, произведенного на общество возрождением Платона устами Вл. Соловьева (Душевная драма Платона) и «Религией страдающего бога» – Вячеслава Иванова, – в духе Ницше, которой предшествовало ознакомление с происхождением трагедии самого Ницше, и наряду с этой гениальной филологической поэмой и ее следствием – книгой Вяч. Иванова, – поэтическая его деятельность, несомненно, античного источника – и очень влиятельная; наконец, уже давно и все шире развертывающаяся научно-популярная деятельность поэта-ученого Ф. Зелинского.

Зелинский переводил Цицерона, затем обратился к некоторым из древних драм, в связи со своеобразными историческими перспективами в статьях «Из жизни идей», – теперь перед нами баллады-послания Овидия. Таким образом, это целое движение, слава Богу, имеющее влияние. Можно спорить с Вяч. Ивановым, уверяющим в предисловии к последнему сборнику своих стихотворений («Нежная тайна»), что «античное предание насущно-нужно России и славянству, ибо стихийно им родственно», но нельзя отрицать того, что если русская культура хочет быть всемирной, она должна впитать в себя и «античное предание», привиться и к античным корням. До сих пор этого не было, если не считать слишком формальных задач далекой старины (XVIII в.), или совершенно казенных в толстовской школе, которым как будто в тон отвечали бездушные переводы вдохновенного Фета; если не считать – отдельных, не составивших течения, хотя и творческих античных статуй, – у

Пушкина, Батюшкова, Майкова и др. У них эти струи шли к поэтическим целям, а не общекультурным. И вот, как ни удивительно, но именно только теперь, уже под воздействиями «символических» исканий, совершается у нас настоящее «наслаждение классицизма», приобщение нашей культуре античного предания. И у Зелинского в этом наслаждении и приобщении большая заслуга. Мы ему серьезно и глубоко обязаны. Он не поэт, а ученый, но его научное сознание полно эстетических ощущений, и потому его работы так обаятельны.

Пусть он модернизирует, и иногда, может быть, через край, но лучше же модернизация, чем казенщина. Эта его модернизация просто понятная реакция против казенщины. Он заставляет любить, он заражает, потому что он весь в стремлении – оживить далекое, угасшее и вечное, в его истинном смысле. Тот ли это смысл, который соответствует действительно бывшему? – мы не знаем. Останемся непосвященными! Когда читаешь любовные переводы Зелинского, с его увлекательными историческими перспективами, протянутыми во вступительных статьях, – хочется верить, что было так, а не иначе, не хочется критиковать, хочется принять, полюбить, как он любит.

Поэзия Овидия представляется переводчику – поэзией, вызванной и пронизанной лучами южного солнца, любовной страсти, не глубокой, не размышляющей, но легкой, прозрачной и жаркой. В этой индивидуальности римского поэта он видит и нечто пленительное и грустно-далекое, «милое и беззаботное», и так чуждое нашему «тяжело живущему племени, как легкий, радостный сон счастливой весны». Таковы начальные и замечательные слова книги. Это та же точка зрения, как у Мережковского в «Вечных спутниках», как у старых немецких романтиков, как у Гете. Конечно, выбор Овидия обуславливает эту односторонность, и Зелинский ее не обобщает. После Ницше мы думаем иначе; иначе смотрит и Вяч. Иванов, иначе, вообще, смотрит, разумеется, и Зелинский, но, кажется, эта идеализация античной прозрачности ближе всего соответствует собственной индивидуальности переводчика: он хотел бы овеять нас этим прозрачным солнечным воздухом юга. Чтобы успокоить нас? Или утешить? Или обмануть?

Во всяком случае, нужно быть благодарными переводчику не только за культурную заслугу, но и за это лирическое побуждение, которое передается и внушает преклонение перед далеким «эстетическим материализмом», когда он был еще безболезненным, – не уделом поверхностно настроенных умов, не следствием холодного равнодушия к «вопросам бытия» и «общественным противоречиям», но проявлением еще «глубинного сознания, в котором самая чувственность так не похожа на нашу современную – мрачную и нечистую, где все «грустно и легко», и где сама печаль всегда «светла».

Владимир Гиппиус.